



Юрий КРУЖНОВ

Экран и сцена. - 1999 -  
дек. (N 51) - с. 14-15

# Парадокс об актере Данилове

Сквозь низкое окно даниловской гимназии на втором этаже БДТ я смотрю, как хлещет дождь по израненной мостовой. Миша и еще двое актеров гrimmировятся к вечернему спектаклю. Что-то меланхоличное, ленивое, усталое висит в воздухе.

— Зря тревожишься, — роняет Михаил. — Спектакль состоится при любой погоде.

Всегда бы вспоминать его таким — веселым, непосредственным, готовым к шутке.

Да, спектакль при любой погоде состоится. Я это знал.

Уже ослабленный болезнью, мучимый одышкой, он встречал меня дома словами:

— А не херсонский ли это помещик пожаловал?

А позже все тем же ослабшим голосом и с прерывающимися дыханиями (из-за высокой температуры) демонстрировал мне, как невнимательен был Гоголь при описании природы в "Мертвых душах".

— Вот определи нарочно, какое время года описано во второй главе?

Миша, вернувшийся из американской клиники с одной почкой и половиной легкого. Миша, кашляющий кровью, перед последним, срочным отъездом в Штаты. Он был бодр, остроумен, излучал даже какой-то задор. Но почему-то тяжело было видеть его, мужественного и бодрого, — ведь знал, что болезнь его съедает.

В октябре 1994 года пришла весть — в клинике Бостона в США умер артист Михаил Данилов. Умер мой друг.

Я часто вижу почти наяву, как он со мной, мальчишкой, идет на евпаторийский пляж. Детские впечатления самые цепкие. Мою кроху-сестричку он любил тогда таскать на плечах. И вот много-много лет спустя, я стою перед скромной могилой моего друга на Охтинском кладбище и, разумеется, не верю, что его нет. Он даже недожил до шестидесяти. Как верно сказал тогда Сергей Юрский: Миша, он не ушел; он просто умер.

Говорить о Мише, как будто он жив! Конечно, это трудно. Далеко не всегда удается быть отстраненным. Но надо попробовать.

Миша Данилов — пример того, как натура определяет все — жизненные взгляды, качество таланта, направленность творчества. Он был удивительный и ни на кого не похожий актер. Но первая мысль — не об артисте Данилове, а о человеке Данилове, личности, какую не часто встретишь. Ибо природа хоть и щедра, но скрупульна.

Миша Данилов. Эти два слова были мерой вещей, вкуса, порядочности, высокой нравственности.

Это не я говорю, это чья-то холодная рука водит моею. Я только вспоминаю и вспоминаю. Без Миши мир не тот. Ведь полноты, когда мы уже стали близкими друзьями, прошло у нас рядом.

Я все смотрю (мысленно) в окно гимназии БДТ.

— Что за погода. Вчера снег сыпал, сегодня дождь. Не зима и не осень. Как назвать?

Голос Данилова:

— Демисезон.

Я слышу его голос, едва просыпаюсь. Звонит телефон — и ждешь услышать знакомое:

— Бросай все к чертовой матери и приезжай немедленно.

— Какая-нибудь причина?

— Никакой.

— Еду.

Я стою на Охтинском кладбище, увереный, что завтра он опять позвонит и скажет что-нибудь вроде:

— Приходи — я начал шить мешочек для новой фотокамеры.

— Мне же на работу.

— Плевать.

— Кому как. У меня не та душевная организация, чтобы конфликтовать с дирекцией.

— Твоя душевная организация напоминает мне чем-то комсомольскую организацию нашего театра. Особенно по части конфликтов с

дирекцией.

Когда вышел фильм Петра Фоменко "На всю оставшуюся жизнь", едва не каждый ленинградец знал даниловского доктора Супругова. Михаил вдруг стал популярен, и этот факт, помню, его жутко раздражал.

Вдруг он замирал, боясь оглянуться:

— Так, пошли быстро. На нас смотрят!

И мы спешно ретируемся из какого-нибудь гастронома, забыв про взвешенные и оплаченные двести граммов сыра.

Мишу известность застала врасплох. Он-то любил жизнь тихую, вольную, жизнь книжечки, шутника, философа и мастерового. Хотя — кто его знает? Однако никогда не терял, например, разные сокращения и тусовки артистов. На театральные банкеты тоже никогда не ходил.

— Нет ни костюма, ни желания, — любил приговаривать.

И это все как-то не вязалось с его профессией артиста. Может быть, с отношения к известности и начинания парадокса артиста Данилова.

— Какая разница, что главное! Все главное! Будут ли вспоминать такого артиста? Может, и вспомнят. А я бы хотел, чтобы просто помнили Данилова!

Это он в запальчивости говорил мне не раз.

Данилов — это мир, и в нем все — и дар артиста, и нежность к близким, и безупречный художественный вкус, и высокая культура, и незыблемость нравственных правил, и владение многими ремеслами.

Но — все это холодные слова. Все хочется говорить о Мише, как будто он умирал; как будто он тут, рядом; не надо пафоса, не надо грусти.

У Михаила Викторовича Данилова было множество увлечений.

Не было у Михаила Викторовича увлечений. Просто он жил всем, что видел, знал, умел — вот и все. Да, он жил фотографией и был блестящим фотографом-художником; он знал трубоначальное ремесло, великолепно делал трубки и был хорошо знаком с самим "стариком Федоровым", великим трубочным мастером; он великолепно рисовал и потрясающе знал мировую живопись; он любил заниматься кулинарией — и многим, многим еще. Он не мыслил жизни без Гоголя и Рембрандта, которых досконально изучил (потому что любил); не представляя свою жизнь без классической литературы и классического джаза, без астрономии и высшей математики. Поэтому что любил все это.

— А знаешь, — пожаловался он мне однажды, — странное ощущение предсует меня в последние годы. Вот узнал я, что такое успех и даже известность. Съездил в Европу. Видел Прагу, Вену, Гамбург. Недавно утвердили на новую роль в кино. Вроде все хорошо. А такое чувство, будто не знаешь, зачем родился. Все время чего-то недостает. И самое досадное — не знаешь, чего. Вот что бесит.

— Я думаю, потому что вещи, о которых ты говоришь, — они не главные.

— А что главное?

— Ну, этого никто не знает. Это — вечная тема.

— Тема, может, и вечная. Да жизнь не вечная.

По-моему, его многое мучило. Внутренней гармонии, видимо, не было.

Я иногда замечал признаки внутреннего разлада. Не все это замечали.

И слава богу. Он бы не потерпел. Он

был всегда обаятелен, остроумен, умен, весел и распространял свет душевной гармонии и таланта. Тянулись к нему.

Наверное, он должен был родиться менестрелем, труборем, трубодром — кто знает? Он был в душе трубвер. Актером он стал, я думаю, не по увлечению, но по глубокому зову природы. Он не мог не стать актером. Переходя на язык обобщений, скажу так: это было в нем, человеке соломоновой серьезности, проявлением игровой стихии. Сколь мощен был фундамент одного, столь неизбыточно был фонтан другого. Соломон, кстати говоря, не чуялся веселости.

В Михаиле под внешней респектабельностью, казалось, незаметно жил средневековый карнавальный "масоник", насмешник над всем и вся, над богом и королем. Не во имя насмешки, но во славу вот этой внутренней свободы. Средневековый эпилог — это есть бунт личности.

Так ли это было, не знаю, но в Михаиле действительно был "фонтан жизни". Конечно, это был своего рода бунт — бунт Михаиловой личности против условностей и пошлости жизни. А Михаил очень остро чувствовал привкус последней. Выплески же жизненного фейерверка он умел удивительно точно дозировать. Только близкий человек мог понять его неожиданный какой-нибудь бунт по рывку, выверт, странное желание.

Бывало, во время репетиции вдруг тихонько открывалась дверь в радиоложу, где я сидел, и показывалась Михаилова лицо. Потом раздавался тихий шепот:

— Сразу после репетиции идем делать закупки.

— Что покупать?

— Понятия не имею. Я получил за картину на студии.

Потом мы бродим с ним час или два, просто так, и, от души наговорившись о звездах, Луи Армстронге и свойствах ливанского амаранта, заглянув в десяток магазинов, заканчиваем тем, что покупаем моток сурьных ниток.

— Вот, рыженький (так он называл меня из-за моей рыжей бороды), это моя самая бесполезная покупка за последние две недели. Ты не представляешь, как это прекрасно, когда тебя не мучает чувство необходимости. Ты только почувствуешь, как это прекрасно.

— Но ведь нитки могут пригодиться.

— У меня дома четыре мотка.

О том, как надо побеждать кость жизни, рутиность ее понятий, на примере Михаила можно написать целый роман.

Можно. Но я лично особенно ценил в нем его чувство внутренней независимости. И многие ценили в Михаиле это и уважали за это, и, я думаю, втайне завидовали. В старом японском трактате я прочел: "достоинство — это внешнее проявление непоколебимого самоуважения". Вот и Михаил не терпел ничего сковывающего личность или фантазию, ничего, сковывающего ум, желания, натуру. Не терпел никаких запретов, никаких рамок.

Однако парадокс состоял в том, что Данилов как раз все время искал "рамки".

Слово неточно: он искал не рамки — искал устои. Его душа художника и артиста страдала в атмосфере ущербной культуры середины XX века. Его, человека, впитавшего все классическое в мире культуры, убивала повальная "демократизация" ее, ибо это влекло за собой уравни-

вание или же переоценку прежних эстетических критериев, по понятиям Михаила, святых и неприкасаемых. На его глазах шло убийство Эстетики. Этого он стереть не мог.

Он говорил мне:

— Понимаешь, когда любой может встать в переходе метро и запеть под гитару, это прекрасно. Но когда это становится эстетической нормой времени. Скажи, почему это становится эстетической нормой времени? Почему "Мама, мама, где моя панама?" стало сегодня мерилом всего — искусства, образа жизни, морали даже?

Он говорил с грустью и с тихим возмущением; так отец возмущается неподобающим поведением дочери.

— Скажи, кто сейчас знает, кто такие Судейкин, Сомов? Я уж не говорю про Митрохина, Ватагина, Пахомова. Ушла не образованность, ушла потребность в красоте. И в образованности тоже. Раньше на стене в доме должен был висеть Добужинский, иначе у людей пропадал аппетит, они не ощущали уюта жизни. Ты-то меня понимаешь?

— Во все времена так — что было раньше, было прекрасно.

— Но, наконец, теперь это спрашивали.

В самом деле — наши 70—80-е годы можно назвать временем размытия понятия "стиль". Михаил остро это почувствовал, раньше всех почувствовал — интуитивно желал как-то удержать уходящее, уберечь, охранить. Он сразу заметил появление "кича" на Западе (еще в 50-е годы). "Кич" — это мечта об уходящем стиле. Стиль является как подделка, повторяется чужое, уже найденное раз, и из предмета или произведения уходит тепло, жизнь. Михаила это пугало и настораживало. Его тревожило исчезновение стиля как чего-то организующего, как ориентирующего момента культуры. "Кич" он сразу вознавил. И всю свою жизнь Михаил был в поиске "стиля", того, что В.Розанов называл "поцелуем бога в вещь". Волонтист в душе, он вместе с тем ценил рамки Стиля и рамки Красоты. И вкуса, конечно, как явления стиля. (Он часто говорил: "вкус — это в искусстве все!"). Стиль — это нечто конкретное, устойчивое, очерченное правилами и законами — то, чего, как считал Михаил, недостает современной культуре. Но тут уже эстетическое обуславливается этическое. А последнее было не менее важно для Михаила. В этом свете многое становится понятным и в облике артиста Данилова.

Все роли Данилова — это, по-моему, прежде всего точно найденные стилистические фигуры. Помню его блестящее сыгранные Трактирщика (концертная постановка С.Юрского "Избранный судьбы"), помню его управляющего у Саввы Морозова (спектакль "Третья стражи"), не могу забыть его адвоката-эстета Шубинского ("Заштитник Ульянов"). Это не только разные характеры — это еще маленькие шедевры стиля. Только я не имел в виду, что Миша был "стилист". Ни в коем случае.

Вот одна из последних ролей Данилова — Отец в пьесе А.Володина "Киноповесть с одним антрактом". Короткая, неброская и уж вовсе не выигрышная. Роль сыграна с необыкновенной теплотой. Точно и тонко и чутко почувствована Михаилом судьба и психология "маленького человека" (что за неловкое определение критики!), то есть, человека скромной судьбы, зажатого у-

ловностями, сдавленного страхом перед ней, но преодолевающего все благодаря доброте, широте и благородству своей души, часто неожиданным для него самого. Таков один из устоев стилистики драматурга А.Володина. И этой стилистикой Михаил проникся. Ибо это был и его стиль.

— Глу-упая. — любил приговаривать Миша, поглаживая кошку Муся. — И это трогает.

Он любил все трогательное. Трогательность была для него определителем домашности, доброты, душевной мягкости. Он обожал музыку Вивальди. За трогательность. Еще больше он полюбил самого Вивальди, когда узнал, что тот обожал кошек. Кошку он сам любил до невозможности.

Может, оттого так мил, обаятелен и стилистически точен Михаил в любимой мною роли славного и добродушного начальника почты в пьесе В.Полякова "До востребования". Здесь роль также легла на натурму.

Но ведь был другой Михаил (его парадоксы): Михаил властный, Михаил деспотичный и непримиримый. Да, именно так.

Своевобразным определителем стилистики целого спектакля стали такие его (контрастные по стилистике володинской) роли, как Монтойя в "Фиесте" Э.Хэмингуэя (Лен. ТВ), Лагранж в "Мольер" М.Булгакова (БДТ). В "Фиесте" — это немногословный, суровый провинциал, ценитель и знаток искусства боя быков, словно олицетворяющий собой еклезиастово немногословие: "и восходит солнце, и заходит солнце, а земля пребывает вовеки". В "Мольер" — это такой же суровый, но уже суровый в своем нравственном ригоризме друг



иногда я возле нее или кто-нибудь из гостей. Мы обычно тихо обсуждали то, что видели на экране, а Михаил, дремлющий на диване в углу, бросал редкие реплики, не давая нашему разговору уйти в серьезные сферы. Не любил он "серьезности".

— Я почему-то думала, что здесь играет Евстигнеев, — бормочет Лора. — А тут, смотрю, одни молодые.

Показывают телевизионный спектакль, в котором занят и Михаил. Он, верно, тоже хотел бы посмотреть, да дрема одолевает.

— Ты видишь этого артиста? — оживляется Лора. — Скажи, Миша, как его фамилия? Панкратов?

— Может, Пантелеев? — подсказывает Лора.

— Нет, это не Пантелеев.

— От "непантелеева" и слышу, — доносится из угла.

— Миша, ну ты же его знаешь. Он играл у нас в университете, в самодеятельности. В художественной, разумеется.

Из угла:

— Как будто самодеятельность бывает нехудожественная.

— Между прочим, они играли именно эту пьесу! Я все хотела прощать, а ее нигде не печатали. Рукописи, как видишь, не горят.

И снова из угла:

— Рукописи, Лорочка, не горят.

Горят авторы.

Как человек, Михаил часто напоминал мне Лагранжа. Прежде всего, как я уже говорил, своим нравственным ригоризмом. Во имя нравственных установок и правил Михаил готов был на отчаянные поступки. Иногда жесткие. Он был непримирим, когда дело касалось морали. Он считал, что подлость — во все времена подлость. Что если ты плохой человек, то ты плохой художник. В вопросах морали он был совсем не диалектик. Его нравственную непримиримость близкие частенько чувствовали на себе — и даже в первую очередь на себе. Иногда с ним было тяжело. Парадоксы Данилова.

Хочется вспоминать и вспоминать бесконечные наши с ним разговоры. Они так неожиданны, они так значительны и незначительны, они так серьезны и несерьезны. За мелочами кроется жизнь. И как бы мы знали его, скажем, домашние,

на знаменитых артистов? Не верю. В Пушкинском театре Меркуров, Борисов, Симонов, Толубеев играли при полупустом зале! Я сам это наблюдал, я там работал. Нет, пойди достань билет на "Ревизора"! А ажиотаж вокруг артистов? Вспомни, на Руси к актерам относились как к шутам гороховым, скоморохам и вообще несерьезным людям. Дворянин не имел права играть на сцене. За актера стыдно было выдать замуж дочь. И сейчас носильщик на вокзале говорит мне: "Подумашь, артист! Ножками подрыгивает — а всегда колбаска на столе!" Так почему же девушки сходят с ума от Кирилла Лаврова, от Стрельчика? Нет, они правы, но все-таки!

Да, он разбирался в искусстве театра, а тем более в актерском искусстве, разбирался как далеко не всякий критик. В нем пропал еще и талантливый режиссер. Я помню, он мне рассказывал, как он поставил чеховский рассказ "После службы". Помни его поразительный режиссерский расклад одной из пьес А. Островского, где все недостатки пьесы были видны, как на ладони.

Автобуса долго нет. Михаил ехится.

— Слушай, — говорю. — Идем пешком. Автобус, вот увидишь, придет через час.

— Ну нет. Дождемся. Я хочу посмотреть ему в глаза.

Данилов не зря сделался мастером крупного плана. Неспроста его лучшие роли — это роли в телепостановках, где крупный план — главный прием. Правдивость и точность эмоции, скрупленный стиль игры — вот что делало Михаила блестящим мастером постановок на ТВ. И киноэкрана тоже. Ведь в крупном плане не только проявляется мастерство артиста — здесь нельзя сфальшивить, вот что. Оттого так великолепен был Михаил на Майской сцене БДТ, где зрителя, сидящего в полутора метрах от рампы и замечающего любое движение бровей артиста, выражение глаз, — не обманешь.

Михаил иногда в полемическом запале бросал:

— В искусстве все должно быть правильно!

Я робко возражал:

— Разве может в искусстве быть понятие "правильно" или "неправильно"? "Неправильное" нередко становится прекрасным. Анри Руссо не умел грамотно нарисовать руку или ногу — но разве он не художник?

Михаил замолкал, наступившиесь. И соглашался.

Я знал, откуда это шло. Он невольно смешивал эстетическое с этическим. Нравственные правила для него были важнее других. "Правильное" или "неправильное" — это есть категории нравственные, а не эстетические. Я думаю, он вполне мог сказать кому-нибудь (буде в этом была бы необходимость): поэт можешь ты не быть, но гражданином (читай: порядочным человеком) быть обязан. Один из крылатых его экспромтов почти так и звучал:

"У него не было никаких иных достоинств, кроме чувства собственного достоинства."

Чувство собственного достоинства он ценил прежде всего.

Михаил был в своем роде фигура знаковая, но — не для своего времени. Как истинно благородный человек и гордый своим благородством, как человек высоко нравственный и непримиримый в этом, — он был "несовременен". Он никогда нешел на компромиссы, он не терпел предательства, лжи и особенно фальши. Он был скорее человеком викторианской эпохи, а не середины XX века. Он был "старомоден" уже как любитель старых вещей. Старые вещи он любил потому, что они были сделаны всегда с любовью и вкусом. Он любилходить со старинным бауличиком. Часы носил Павла Буре или Лонжина, которым было лет по восемьдесят и которые уже были не раз отреставрированы. Он любил собирать старые механизмы. Он обожал старые фотографии.

Его трогало, что я носил калоши. И если я исходил из практических соображений, то Михаил смотрел на это по-другому.

— Мы с тобой, рыженький, старомодные люди — по нынешним-то понятиям. Но скажи, что значит "старомодность"? Скажи, Рафаэль старомоден? А Венецианов? А Чехов?

По-моему, Михаил как раз был очень современным человеком. Ибо мало кто так чувствовал "текущий" момент, как он. Острота восприятия — одно из удивительных его свойств.

Особенно он, конечно, чтил человеческие авторитеты, правда, тоже по-своему. При нем нельзя было сказать плохого слова о Рембрандте, о Зощенко или Булгакове, об учителе его, Василии Васильевиче Меркурове, о его друге Сергеем Юрском. Михаил мог стать вашим врагом на целый вечер. За этим почитанием была — любовь. Миша, этот порой жесткий, бескомпромиссный человек, был полон нежной любви. Правда, его властная натура привносила в это свое. Обожал помогать друзьям и близким, но почти насильно таскал меня и других своих друзей к врачам, доставал лекарства, устраивал в больницы. И хотя делалось это иногда деспотично, с окриком и упреками в неразумности, ему нельзя было не подчиниться. Ибо за этим были снова — душевное тепло, искренняя забота, желание помочь. Он, может, не один раз спас меня. С благодарностью я вспоминаю и его настойчивость и его дружеское "тобранивание", его упреки. Он не давал раскиснуть. Если кому-то из друзей нужен был совет, то шли к нему. Иногда только он мог что-то посоветовать. Он был одарен и жизненной мудростью, и безошибочным нравственным чутьем. И он, конечно, никогда не ждал ничего в ответ. Впрочем, нет — ему нужно было такое же теплое отношение. Ему нужно было, чтобы восхищались его вещами и поделками, ему необходимы были одобрение и поддержка. Ему нужно было внимание друзей. И их общение.

Рано утром, еще нет восьми, раздавался звонок:

— Ты три дня не звонишь, и я уже забыл твоё лицо.

Наслаждением было наблюдать, как сходились два таких человека и друга, как Миша и Боря Стукалов, наш театральный фотограф, еще один Мастер экстракласса, также человек независимый, также обладающий острым — и весьма едким юмором. Михаил спешил похвастать перед ним каким-нибудь новым приобретением. Это были два больших дитя.

Вот они доставали только что приобретенную в комиссионке старую фотокамеру, ставили на штатив и долго рассматривали сквозь матовое стекло изображение.

— Нет, ты посмотри, — чуть не попался от восторга Михаил. — Какая четкость! И как все просто! Ведь все элементарно! Ведь ничего лишнего!

— На уровне печной задвижки! — кивал Боря. — А какой класс!

— И этой "старушке" — почти 70 лет! А возьми наш любой "автомат" — ведь он, зараза, через полгода ломается.

Боря нервно подергивал плечами.

— Я, Миша, знаю только один автомат, который никогда не ломается, — это автомат Калашникова.

Эта атмосфера "радости жизни" — самое цепкое, самое сильное, самое чудесное, что помнится всегда.

— Лорочка, сделай нам заварочки! — кричит Михаил в кухню. — Э, Боря, а закусить? Есть отменный рыбец. Хорошего прожара.

— Небось, подгорельняк?

— Обижашь. Разве что чуть-чуть.

— Нет, от жареного у меня какая-то горечь во рту.

— Это горечь жизни.

Лора приносит из кухни чай, и Боря, отведав, довольно крякает.

— Может, скажешь еще, что и чай — "проливач"?

В доме у Миши был свой "сленг", когда слова приобретали какой-то неожиданный, "сверхточный" смысл. У Даниловых редко говорили "пойти в магазин", но "делать закупки"; кошка не кусается, а "делает покусы".

— Представляешь, в Москве сразу три театра поставили "Чайку", —

сообщаю я, отведывая чудесного чая.

— Это, наверное, ко дню птиц.

— Может быть. Но три вечера одних "Чаек" — спасите наши души!

— Спасите наши души? — настороживается Боря. — Похоже на требование митингующих работников бани.

— А как тебе, Боренька, понравится объявление в ломбарде: "Здесь будет город заложен!" Сам видел.

Экспромты Михаила обладали тем загадочным свойством, что раскрепощали, рассеивали внимание, в их чаду чувствовал себя привально, легко, расслабленно, беззаботно. Забывал про весь мир.

— А не желаете ли, Боренька, мясо по-тамски?..

Как-то я принес Михаилу показать одну детскую книжку.

— По-моему, сильно отдает Чуковским. Как считаешь?

Михаил проглядел книжку и согласился:

— До Корней Чуковский.

Чувство "игрового" восприятия мира не покидало его даже в тяжелые минуты. Когда у него случился микроинсульт, и он, проснувшись утром, понял, что не может пошевелить рукой (а он тогда регулярно каждую неделю летал на съемки), то первое, что он пролепетал, обращаясь к спящей рядом жене:

— Лорочка, я, кажется, доездил.

А вместе с тем, он обладал острым и нередко мучающим его чувством ответственности — перед судьбой, перед людьми.

Я начал с него нелюбви к славе. Но нельзя путать эту "нелюбовь" (мое мнение) с чувством ответственности профессионала.

Однажды его пригласили во МХАТ сыграть в спектакле "Два анекдота" по А. Вамилову. Михаил блестяще играл Калошина в БДТовском спектакле на Малой сцене (где он, кстати, выступил еще и в качестве художника). "Гастроль" прошла с большим успехом. Михаил вернулся из Москвы просветленный, удовлетворенный. И потом рассказывал мне, с каким необыкновенно светлым, благодарным чувством вышел он после спектакля на улицы Москвы.

— Я вдруг впервые почувствовал, что не зря живу. Это не довольство славой — какая там слава? Ну, успех. Было странное чувство, что ты, наконец, имеешь право спокойно смотреть на дома вокруг, неторопливо прогуливаться по улицам и при этом не думать ни о чем. Будто выполнил какой-то маленький долг на земле. И умирать не страшно!

Позже (только вышел фильм "На всю оставшуюся жизнь") мы прогуливались с ним как-то по парку на Петроградской. Вдруг какой-то смущенный мужчина схватил Михаила руку и стал жать ее, бормоча что-то с чувством. Потом вытащил клочок бумаги и стал просить Михаила написать ему несколько слов — "автограф для дочки". Михаил тихо вознагодовал, но все же нацарапал на листке пару слов и сухо вручил незнакомцу. Тот был расстроган. Мы двинулись дальше. И вдруг мой скептически настроенный друг молвил с каким-то незнакомым мне чувством:

— А знаешь, ведь ради такого стоит жить.

И он говорил не о славе.

У меня дома висит его акварель, где изображен уголок евпаторийской слободки. Я то и дело взглядаю на нее — и машинально жду опять, что вот раздастся звонок, и Мишин голос в трубке произнесет властно и мягко:

— Так, немедленно все бросай, бери такси! — и чтобы был у меня еще до одиннадцати.

— Без пяти.

— Ты едешь?

— Причина есть?

— Причины нет.

— Еду.